

ТВОРЦЫ ДЕКРЕТНОЙ РОДИНЫ

РОСТОК ЗЕМЛИ ОБЕТОВАННОЙ

На словах руководствуясь марксистско-сталинской территориально-экономической теорией нации, на деле советская власть налегала на главный фактор – на создание системы коллективных иллюзий. Ещё до всяких индустриализаций, в двадцатые годы она поставила перед собой небывалые задачи: в ударном порядке создать сразу два национальных фантома, один объединяющий, другой обособляющий, – «советский человек» и «Биробиджан – родина всех трудящихся евреев». Через восемьдесят лет можно с уверенностью констатировать: новый фантом создать не удалось, а старый на новом месте вполне прижился, так что его пришлось истреблять силой. То есть после падения коммунистической диктатуры «советский человек» распался в точности по национальным швам, а назначенную с потолка декретную родину еврейские романтики (а именно они являются солью всякого народа) действительно начали считать своим отечеством.

Поскольку родину создают не кочегары и не плотники, а поэты, ибо родина – это система грёз, интересно было бы изучить поподробнее, какими иллюзиями биробиджанские творцы были очарованы сами и пытались очаровывать других. И хотя больших поэтических талантов среди них открыть не удалось, их попытка создать родину из ничего остаётся уникальной и весьма поучительной.

Сталинский удар на них обрушился из-за того, что они с предельной добросовестностью исполняли своё дело – воспевали новую декретную родину. Но – воспевали как нечто отдельное, особенное, ибо никак иначе ничего воспеть невозможно. Невозможно заразить кого-то своей любовью к человеку, профессии, народу, области, постоянно приговаривая, что они ничем не лучше других. Невозможно и оплакать своё отдельное горе, будучи поставленным в необходимость постоянно оговариваться, что и у других горе нисколько не меньше. А именно этого и требовала советская власть.

Она требовала романов и поэм в таком примерно духе: наконец-то сбылась тысячелетняя мечта еврейского народа о собственном государстве – хотя в дружной семье советских народов повсюду живётся одинаково уютно. Наконец-то мы можем писать на своём родном языке – хотя он, конечно, ничем не лучше великого и могучего русского языка. Мы должны собрать все силы – хотя без поддержки великого и могучего русского народа у нас всё равно ничего не получится. Наши парни сражаются, как истинные наследники Самсона, – хотя, впрочем, Илья Муромец ничем ему не уступит. Горе наших матерей, потерявших своих сынов, безмерно – хотя и не более безмерно, чем горе русских, украинских, белорусских, узбекских, татарских и всех прочих матерей.

При всей смехотворности этого канона, поэтов и прозаиков карали именно за отступления от него.

Нет, вполне можно понять, что в военные годы, требуя от самого сильного народа страны чудовищных жертв, власть стремилась как можно больше льстить ему и как можно меньше его раздражать (если только этого не требовали её собственные интересы), – с этой точки зрения объяснимо даже то, что массовые истребления евреев во время войны советская пропаганда дипломатично именovala массовыми убийствами «мирных советских граждан». Но если так может рассуждать политик, то поэт, национальный поэт так чувствовать не может, поэзия рождается эмоциональным порывом, а не дальновидным расчетом.

Всё это, собственно, доказывает только то, что попытка создать с нуля национальное государство меньшинства внутри национального государства большинства была обречена на заведомое поражение. Причём обречена не только тоталитарно-коллективистскими, но и либерально-индивидуалистическими принципами.

В 1944 году на фоне общего горя и нужды руководство Еврейской автономной области решило отметить десятилетие со дня образования ЕАО и в благодарственном обращении к Сталину среди стандартной патетики была использована пара специфически еврейских образов: Самсон, пожертвовавший собой ради уничтожения врага, «львиное сердце Маккавеев»... И это через несколько лет припомнили первому секретарю обкома Александру Наумовичу Бахмутскому в качестве проявления еврейского буржуазного национализма.

Об уничтожении Еврейского антифашистского комитета (ЕАК) написано довольно; поэтому здесь достаточно сказать: разумеется, никакой шпионской деятельностью «еврейские антифашисты» не занимались, но что касается несанкционированных грёз, то таки да, грезили. Вступались за отдельных евреев, вообразили себя представителями несуществующего народа...

ЕАК и в самом деле находился в фокусе международного внимания. Но кому в столицах было дело до того, какими демагогическими зверствами отозвалась эта кампания в Еврейской автономной области! Мощным катализатором послужило и осложнение отношений с государством Израиль, примерно в это же время воссозданным на канонической Земле обетованной и отказавшимся служить советским плацдармом на Ближнем Востоке. Энтузиазм, с которым советские евреи восприняли его героическое рождение, не мог не усилить в советских вождах не лишённое оснований чувство: сколько еврея ни корми...

Всё, что связывалось со словом «еврейский», «еврейское», в Еврейской автономной области теперь именовалось буржуазным национализмом, — как, впрочем, и во всей стране. Однако особенностью ЕАО было, пожалуй, обвинение А.Н.Бахмутского в попытках создать в Еврейской автономной области еврейскую элиту. Что он, судя по всему, действительно пытался сделать. Тогда как подбор кадров по национальному признаку и в самом деле был нарушением не только сталинской конституции, но и вообще либеральных принципов, запрещающих принимать во внимание национальность граждан. Ну, а что без такого подбора, без создания дополнительных стимулов евреям оставаться и становиться именно евреями, а не просто «советскими людьми», область и не могла сделаться еврейской — так и не нужно. Довольствуйтесь названием. А потому и экспозиции по еврейской истории из краеведческого музея должны быть изъяты.

После показательных изобличений и тщетных покаяний («Я кроме семилетки и ФЗУ, по существу, никакого образования не имею») в театре имени Кагановича А.Н.Бахмутский был исключен из партии. Напрасно он, глотая слёзы, повторял: «Мне всего тридцать восемь лет. Поверьте мне. Только не исключайте...»

Первые слова нового, присланного из Москвы первого секретаря обкома П.В.Симонова, обращённые к ожидавшему его шоферу (кстати, еврею), были таковы: «Ну так что, расхулиганились здесь еврейчики? Ну ничего, мы порядок наведем».

Новое истребление начавшей было формироваться государственной, хозяйственной и культурной элиты Еврейской автономной области, в отличие от 37 года, планомерно осуществлялось теперь уже по национальному признаку. Во всех обвинениях ключевые слова были одни и те же «буржуазный», «националистический», «сионистский», «космополитический», «проамериканский». В центре города жгли тысячи книг на еврейском языке — это были книги репрессированных писателей, а заодно и просто «устаревшие по содержанию» и «излишние». А сами биробиджанские писатели...

Борис Миллер (Бер Срульевич Мейлер), 1913 года рождения, образование высшее, писатель, был обвинён в том, что в его патриотической пьесе «Он из Биробиджана» земляки, встретившись на фронте, поднимают тост сначала за Биробиджан и только потом за товарища Сталина, — в итоге десять лет, правда, с правом переписки. И то сказать: в газете «Биробиджанер штерн» («Биробиджанская звезда») Б. Миллер опубликовал список евреев — Героев Советского Союза. Не могу устоять перед соблазном процитировать протокол его допроса.

Следователь: Почему список озаглавлен «Честь и слава еврейскому народу»? Вам разве неизвестно, что это определение — «еврейский народ» противоречит национальной политике партии и правительства?

Миллер: Термин этот, хоть он и противоречит марксистско-ленинскому определению нации и народности, систематически употребляется в еврейской печати.

Следователь: Вы сознательно опубликовали этот список?

Миллер: Сознательно. Я вообще не представляю, как можно что-то делать несознательно.

Хорош...

Любовь Шамовна Вассерман, родившаяся в Польше, приехавшая в Красный Сион из просто Сиона, имела неосторожность сочинить стихотворение, в котором были такие строки:

Биробиджан – мой дом,
И песнь моя о нем.
Люблю свою страну – Биробиджан.

Следователь: Признаёте, что оно националистическое?

Вассерман: Да, потому что в нём допущено такое националистическое выражение: «Люблю свою страну – Биробиджан».

Следователь: Значит, признаёте, что вполне сознательно проповедовали национализм?

Вассерман: Нет, не признаю. Потому что стихотворение мною опубликовано не было, и никто его не читал. Когда я написала это стихотворение, я поняла, что оно националистическое.

В итоге те же десять лет, отштемплёванные тем же 31-м мая 1950 года. А в 1952 году, в день Советской армии А.Н. Бахмутский был приговорён к расстрелу, заменённому после его клятвенного письма Сталину двадцатипятилетним заключением. Бахмутский вышел на свободу в 1956 году за месяц до XX съезда сорокашестилетним, но уже безнадежно больным человеком. И век свой доживал в полной безвестности.

Антисемитизм пировал в еврейском «национальном государстве» ещё более пышно и разгульно, чем в остальном Союзе.

Еврейское переселение практически прекратилось. Условия, которые теперь предоставлялись переселенцам, могли бы соблазнить разве что каких-то еврейских энтузиастов – однако для энтузиазма было меньше всего оснований. Зато хоть как-то обеспечивались жильём «спецпереселенцы», среди которых было немало реальных пособников Гитлера, помогавших ему осуществлять окончательное решение еврейского вопроса в Западной Украине, Белоруссии и Молдавии.

С колхозников в ЕАО сдирали последнее, – как, впрочем, и везде: «нормализация» была осуществлена на все сто. О национальном же достоинстве могли помнить только безумцы.

* * *

В Большой советской энциклопедии, куда, как известно, попадают лишь самые выверенные знания, в 1952 году чёрным по белому было пропечатано: евреи не составляют нации.

Еврейской нации не было, а еврейская область всё-таки была, напоминая известный анекдот про Вовочку: как же так, ж... есть, а слова нет?

До перестройки без специальных поисков о Еврейской автономной области было практически невозможно найти какие-то печатные упоминания, разве что изредка вздрогнешь, наткнувшись на карте на слово «Еврейская». Биробиджан в конечном итоге не сделался ни огромным гетто, как опасался Илья Эренбург, ни какой-то особенной фабрикой ассимиляции, как с горечью констатировал Борис Миллер. Это была область как область, с 1967 года Еврейская ордена Ленина. Правда, с 1970 года с евреем во главе. Евреев там осело всё-таки погуще среднего (около 9% населения Биробиджана и около 0.7% всех советских евреев), но в номенклатуре их почти не было. И в коллективных грёзах русского народа они тоже не присутствовали. И в грёзах еврейского народа, я думаю, тоже, а дух народа – это и есть его коллективные грёзы. Даже в тех сферах народного духа, где обретаются анекдоты, мне попался только один третьесортный экземплярчик. Брежнев летит в Биробиджан, а самолёт из-за сложных метеоусловий садится в Китае. Брежнев выходит, всматривается в публику и спрашивает: «Ну что, жида, прищурились?»

Биробиджан выпал и из еврейской, и из русской истории, – время от времени, правда, всплывая, когда требовалось поубедительнее заклеить международный сионизм.

Сегодня упоминания о Биробиджане встречаются хотя и тоже редко, но всё-таки гораздо чаще прежнего. То промелькнёт по телевизору, что там открылась новая синагога, то попадётся на глаза ещё более оптимистическое сообщение, что биробиджанское акционерное общество «Тайга-Восток» начало выпуск ещё трех видов водки с национальным ароматом, или, если хотите, душком, – «Еврейское счастье», «Бедный еврей» и «Рабинович», присоединившихся к уже завоевавшим сердца потребителей русским национальным напиткам «Шабатная», «Хасидская», «Фрейлахс» и «Еврейские штучки»: это обнадеживающий пример не ассимиляции еврейства, но зарождения новой, синтетической культуры, взявшей лучшее у обоих народов.

И тем не менее... Сохранится ли Биробиджан в еврейской истории? Иными словами, накоплен ли им сколько-нибудь заметный поэтический потенциал, ибо все непоэтическое обречено кануть в писаную историю. Чаще всего история Биробиджана воспринимается как история обманов и расправ, и этого добра в ней и впрямь более чем достаточно. И все же... Обманутый романтиче-

ский порыв, обманутая бескорыстная любовь – это вечная поэтическая тема, – не хватает только своего Шекспира. Или пускай уж Ростана.

ПЕВЦЫ АМУРА И БИДЖАНА

Именно из-за отсутствия таковых автор этих строк и написал свой «Красный Сион»...

И всё-таки прежде чем проститься с несостоявшейся Землёй обетованной, оглянёмся напоследок на творцов поверженной грёзы.

В идиллическую застойную пору местные очеркисты любили воспевать Биробиджан в духе «Медного всадника»: где прежде гольдский зверолов, печальный пасынок природы и так далее, теперь громады стройные теснятся.

«Сегодня площадь Советов – одно из красивейших мест Биробиджана. Летом она утопает в цветах, под прохладной тенью белой сирени, у памятника Владимиру Ильичу Ленину весело резвятся дети. Кто расскажет им, скольких трудов стоило создание этого великолепия? Когда-то был здесь заброшенный карьер, откуда брали песок и щебень на строительство железной дороги, в пору летних дождей и паводков тут разливалось целое озеро, хоть катайся на лодке». (С. Панман «Воплощённая мечта первостроителей». Сб. «На берегах Биры и Биджана», Хабаровск, 1972).

Но самыми поэтичными, разумеется, были поэты.

Изи Харик, расстрелянный в 1937-м, на языке идиш воспевал прежде всего индустриализацию – чтоб, мол, чахлой зеленью не сквернили скверы, в небеса шарахаем железобетон. Бродя по родному покинутому местечку, он либо не ощущает, либо не даёт воли ностальгическим чувствам:

О чём я, местечко, мечтаю, как встарь,
Чего желаю тебе сердечно:
Хотел бы одеть тебя в камень и сталь,
Мной покинутое местечко.

Бетон и железо – самые поэтические предметы в этой поэтике. И еще – грядущее!

Среди высочайших

В сапожищах из юфти,
В соседстве лазури небесной,
Мы стоим среди лесов
На стропилах, висящих над бездной.

Как покорную глину,
Меся неоглядные дали,
Локоть в локоть стоим
На железе, на камне, на стали...

День за днём на стропилах
Проводим в труде напряжённом,
И – растущие в высь,
Насыщаются стены бетоном...

И отсюда мы вглядываемся
В просторы без края,
Мы следим, как в лазурь
Убегают ступени, сверкая...

Что ни день, убегают
Ступеньки всё выше и выше,
И, на миг оторвавшись,
Мечтаем: – Дожить бы до крыши!

И отрадно нам чувствовать,
Цемент и камень кладущим,
Что среди высочайших
И мы засверкаем – в грядущем!

Превыше всего промышленное строительство. Но для торговцев уже и шаг к крестьянскому труду – тоже шаг вверх.

Песня бывших лавочников

«Никогда мы земли не имели,
Никогда бы мы прежде не пели,
Как сегодня, за плугом идя.

Наши руки неловкими стали.
Что мы знали? – аршин да весы.

Разве мы об усадьбах мечтали?
Мы земли и во сне не видали,
Не слышали мы звона косы.

Наши крепкие, быстрые ноги
Не могли нас к земле привести,

Только время борьбы и тревоги
Нас лишило привычной дороги
И другие дало нам пути.

О прошедшем забудь поскорее!

Дни былые быльём поросли...»

И внезапно умолкли евреи.
Всё отвесней лучи. Всё светлее
Полевые просторы вдали.

Лирические размышления биробиджанской ночью тоже не порождают грусти расставания с уходящим миром – в отношении к прошлому доминирует либо предвкушение нового, либо мстительное торжество.

* * *

Многим думам нынче возникать дано –
Чутко прикорнула тишина у ног...

Небеса сползают, и в морозной мгле
Озираю край, лежащий на столе.

Режь и перекраивай... Будь упрям, суров...
(Жило-было некогда местечко Рогачёв,
Где отец седой выкраивал и шил...)
Распростёрся край, исполнен дивных сил...

Режь и перекраивай, разбуди от сна,
Да взойдет в нём жизнь, просторна и ясна!

Козочки-местечки средь равнин-болот...
На Востоке Дальнем дом родной встаёт.

* * *

Тишина великая нисходит на меня,
Голову мою кудрявую клоня.

Эх, товарищ дальний, брат мой Михаил,
Звон твоих цепей в тиши я уловил.

Как глухими трактами плёлся ты в централ,
Ветры голосили, снег в лицо хлестал,

Ветры с ног сшибали вас, одевали в лёд,
Арестанты серые, каторжный народ.

Пусть на хлеб и воду, в отдалённый край –
Мы с тобой сочтемся, император Николай...

Эх, товарищ дальний, брат мой Михаил,
Звон цепей твоих в тиши я уловил...

Среди тысяч сопки виден мне твой след!
На Востоке Дальнем – триумфальный свет.

* * *

Ночь. Пути звезд исчерчен небосвод.
Песня по просторам стелется-плывёт.

Я к земле прикладываю ухо, – и слышна
Сокровенных недр густая тишина.

В недрах сокровенных тишина горда,
Как моё томленье, рвётся ввысь руда.

Как тайга, там дико изобилье, и в ночи
Под землей промёрзшею, ворочаясь, рычит.

Сотни контрабасов в темени слепой
Стонут, завывают, громяхают вперевой...

Уголь, медь и золото – а ветры так и жгут, –
Распластались недра, притаились – ждут.

* * *

Перламутром синим светит ночью край,
Перламутром красным светятся утра.

Спозаранья слышно, как гремят в тайге
Взрывы динамитные вблизи и вдалеке.

Там тоску срубуют, как старинный бор,
Там звенит-гудит уверенный топор.

Ну, и так далее, как говаривал Багрицкий, внезапно обрывая чтение стихов.

* * *

У Любви Вассерман те же мотивы – беспросветное прошлое и наконец-то обретённый сияющий дом.

Несётся поезд вдали, борясь с ночною тьмой. Где в сопках над тайгой широко всходит утро.
Звезда уже горит рассветным перламутром. И всё прозрачней высь, путь краше и ясней.
Летит состав туда, где новый город мой, Мелькает ширь степей, байкальские тоннели...

Встает моя страна в сплошной голубизне,
И струи мчит Амур у пограничных елей.
Среди зелёных рощ, среди долин и гор
Стремглав летит состав... И за оконным
светом
В последний раз моих воспоминаний скорбь
Всплывает, как туман, дробясь в лучах
рассвета.

В пути ещё, минувя
Речной изгиб у Вятки,
Я вспомнила внезапно
Мрак нашей жалкой хатки.
И с ней местечко в Польше –
Как ветхое кладбище.
Я провела в нём детство
Без крова и без пищи.
Кляня и кровь погромов,
И чёрные руины,
Оттуда я бежала
Под небо Палестины.
Но здесь всё тот же голод
Грозил своим оскалом.
И воспалённым взором

Я жадно путь искала.
С толпою демонстрантов –
Тот путь мой был суровым.
Тюрьма глухая стала
Моим невольным кровом.
Но дух мой не был сломлен –
И снова я бежала...
Теперь передо мною –
Огни Биробиджана.
Приводит путь мой к счастью –
С трудом и звонким пенем.
И юность расцветает
Вторым моим цветеньем.
В раскрытое окно кропят росой кусты
И свежестью ветвей, расставшихся с
дремотой.
Как дни мои опять, пройдя сквозь ночь,
листы
Горят, озарены рассветной позолотой.
За маревом тайги и голубых дымов
Уже несёт Бира течение сквозное.
Над нею город мой растёт грядой домов,
И солнце льёт лучи сверкающего зноя.

За любовь к этому дому она и получила свои десять лет. Вот то самое роковое стихотворение из следственного дела в более безопасной, книжной редакции времён перестройки.

Хочу, чтоб знали все, всем рассказать хочу:
Биробиджан – мой дом, душой к нему лечу.
К вам, пахари, творцы, строители дорог:
Не где-то – только здесь
Любви моей исток.
Я среди вас, друзья, трудилась и жила,
Писала по ночам, костры утрами жгла
И по ночам опять писала о тебе,
Мой город у Биры, единственный в судьбе!

Так шёл за годом год, и не забыть вовек:
Болотам и тайге не сдался человек.
И вырос у Биры наш светлый добрый дом,
В котором мы с тобой, счастливые, живём!
Пусть юность пронеслась, как бирская вода,
Но город молодым остался навсегда.
И я хочу друзьям напомнить об одном:
Биробиджан – мой дом,
И песнь моя – о нём..

Как видите, роковой строки – «люблю свою страну Биробиджан» – уже нет.

* * *

Арон Вергелис в моих глазах всегда был фигурой несколько комической – главный редактор декоративного журнала «Советиш геймланд» («Советская родина»), так как мой еврейский папа Мотель Аврумович накрепко внушил мне, что все мало-мальски стоящие евреи давно уже перешли на русский, за идиш держатся только те, кому не по силам выдержать конкуренцию с «нормальными» поэтами и прозаиками. Надеюсь, папа был не совсем прав в своей предвзятости, но и «Литературная энциклопедия» насчет Вергелиса не вдохновляет: в центре стихов В. – становление характера сов. человека, В. воспевает героизм сов. воина и строителя...

Тем не менее, места среди певцов Биробиджана Вергелис безусловно заслуживает.

Родившийся в тайге

Мой брат, родившийся в тайге Биробиджана,
С рожденья знал пути в лесах наверняка;
Дремучая тайга и в сумраке тумана
Была ему ясна, как степь для степняка.
Он был, как юный кедр, не тот, что пересажен
В угрюмую тайгу, чтобы сродниться с ней,
А тот, что из земли здесь вырос ростом в
сажень,

Вцепясь в тяжелый грунт сплетением корней.
Его отцы прошли по всем дорогам мира,
Чтоб не пришлось ему скитаться на возах,
И нету для него родней реки, чем Бира,
Он любит этот край, как любит степь казах.
Здесь он родился, здесь переболел он корью,
И терпкий сок берёз сосал, как молоко,
И в шелковой траве зелёные нагорья

Его, запеленав, баюкали легко.
 Тайга крепила рост его зубов молочных
 Пахучею смолой и корешками трав,
 И ветви в колыбель тянула, чтоб неточный,
 Неверный первый шаг он сделал, не упав.
 Она вела его, как нянюшка, играя,
 В атласный мир листы, где мог он без конца
 Свистеть и щебетать, дразня и повторяя,
 Такого же, как он, задорного певца.
 Медведя мягкий ход, стремительность фазана
 Узнал и перенял он с самых ранних пор;
 Река его труду учила неустанно,
 И вечно юным быть – тысячелетний бор.
 И тишину дарил ему покой долинный,
 Движение и шум – гремучий водопад,
 А сопка – небеса на высоте орлиной;
 На голубых полях он был простору рад.

Медовою смолой и хвоей пахли брёвна:
 В грудь леса врублен был его сосновый дом.
 В артельный, общий труд с врождённой
 страстью кровно
 Он сам – ещё малыш – вошёл своим трудом.
 Теперь он великан с могучими руками;
 Открытое лицо, и взгляд по-детски чист,
 И бронзовый загар, и кудри – ручейками,
 Он зорок, как орёл, и по-оленьи быстр.
 И потому, что он, иной удел приемля,
 Родился, вырос здесь, – переселенца сын, –
 Он любит этот край, как любит корень землю,
 Его ветра, леса и шум речных теснин.
 На юношу взглянув, припомнишь ты нежданно
 Скитальческую жизнь и ощутишь острей:
 Вот поросль коренных сынов Биробиджана,
 Возвращенная трудом еврейских матерей!

Вергелис пытался (и это сошло ему с рук) привести в некую гармонию тему русского и еврейского подвига: я, дескать, еврей, но одновременно и русский. Вот характерный отрывок из поэмы Вергелиса «Песнь о герое» – Иосифе Бумагине, повторившем подвиг Александра Матросова.

Я русский воин, я еврей из-за сибирской
 дали.
 Я в бой пришёл с хинганских гор, где вся
 моя семья,
 Меня в труде сибиряки умельцем называли,
 И смельчаком теперь зовут меня в бою
 друзья.

Врагу известно – у меня рука тяжеловата.
 На русском поле рос и креп мой род из века
 в век.
 Я на Матросова похож, как на родного брата,

Я русский воин, я еврей из-за сибирских рек.
 Я родины своей солдат. Я к площадям Европы
 С боями тяжкими пришёл, не сдавшись, не
 устав.
 Я с теми, кто под пули шёл, сражался, рыл
 окопы,
 Россию милую храня, на страже счастья встав.
 Я волю нес друзьям, врага карая неустанно.
 Готов гранатой сердце я швырнуть в лицо ему.
 Я русский воин, вырос я в тайге Биробиджана.
 Я с теми, кто спасает мир в пороховом дыму!

Да, и впрямь изящное решение: «я русский воин, я еврей».
 Субэтнос?

* * *

Исаак Бронфман в «Литературную энциклопедию» не попал, но в биробиджанской плеяде он фигура вполне заметная.

Улица Шолом-Алейхема

...Мне дорог этот город.
 Люблю гудков его
 Рассветный говор,
 И звон Биры,
 И сумерки аллея –
 Здесь я встречаюсь
 С юностью моей.
 И часто снятся мне
 Костры и ливни,
 Гул тракторов
 И перебранка пил.
 Легли проспектов
 Солнечные линии
 В местах,

Где зверь таёжный воду пил.
 И не жалею,
 Что кирпичиком здесь лёг я
 Вот в эти мостовые
 И дома.
 Взметнулся город
 Птицей-песней лёгкой,
 И я шепчу
 Шолом-Алейхема слова:
 «Смеяться здорово,
 Врачи велют смеяться!»
 На площадях цветёт сирень, акация.
 Шолом-Алейхем –

это значит

«Мир вам!»
 Что может быть дороже
 Этих слов!
 Мой город спит
 Под небосводом мирным,
 Укутанный таинственностью
 Снов.
 Шолом-Алейхем –
 Звонкий мастер слова –
 Любил людей.
 И был любим он ими.
 Сегодня мы встречаемся
 С ним снова
 На улице,
 Носящей это имя.
 Здесь поднялись дома
 До неба синего,
 Здесь встали корпуса
 Заводов новых.
 Живут здесь люди
 Честные и сильные –
 Строители
 Невиданнейшей нови.

Когда рассвет
 Крыло зари расправит
 И приподнимет
 Чёрный полог ночи,
 Ему навстречу
 Двери открывает
 К станкам своим спешащий
 Люд рабочий.
 О, если б мог
 Шолом-Алейхем видеть,
 Как труд их светел,
 Радостен и славен.
 Он – вечно молодой,
 Смешливый витязь,
 Великой Песнью
 Труд людей прославил.
 Над городом –
 Распахнутые дали...
 – Шолом-Алейхем, люди,
 Мир вам, люди!
 И улице мы это имя дали –
 Она достойна.
 И всегда так будет.

Гешефт

(Из фронтальной тетради)

Мне с венграми досталось разделить
 Победы радость.
 Было всё похоже
 На то, что мне в тот день любой прохожий
 Считал за долг улыбку подарить.
 И я бродил, той радостью согрет,
 По городку с беспечностью разини,
 И подошёл дорогой к магазину,
 По случаю нехватки сигарет.
 А он являл собою пустоту,
 Среди развалин чудом уцелевший.
 Да, пуст был он.
 Но за прилавком плешью
 Поблескивал хозяин на посту.
 Хозяин – толст, в ермолочке и скор
 В движениях –
 развёл руками: видишь...
 На языке простого люда – идиш –
 С хозяином заводим разговор.
 На языке знакомом и весёлом
 Приветствие радушно звучит:
 – Шолом Алейхем! – мне он говорит.
 И отвечаю я: «Алейхем шолом!»
 – Откуда ж вы, позвольте вас спросить?
 Какие ветры по миру носили?
 – Как видите, хозяин, из России... –
 Он на погоны глазом стал косить.
 – Э-э-э, как же не слышали!
 Мир болтлив,
 Как тот раввин из нашей синагоги.
 Мой дед едва унёс оттуда ноги,

Когда ещё, хи-хи,
 Я был соплив.
 Вы скажете, он подобра сбежал?
 Его богаче не было в Одессе!
 А вы – откуда?
 Извините, если...
 – Есть город там такой – Биробиджан...
 – Ах, – будто треснул на зубах орех, –
 Туда же можно ехать на кончину!
 Тайга, медведи, небеса с овчину...
 Простите мне, хи-хи,
 мой глупый смех... –
 И он, повеселев и поблажев,
 Прошёлся за прилавком, подбоченясь...
 – Ещё вопрос имею к вам, почтенный:
 Какой вы там имеете
 гешефт?
 То на меня он весело глядел.
 То зло –
 на автоматную гашетку...
 – Простите, – отвечаю, – но гешефтом
 В знакомом идиш
 я не овладел.
 – Как можете шутить, – скривил он рот.
 Но вот опять затараторил бойко:
 – Мы магазин имеем?
 Маслобойку?..
 Чем делаем свой маленький доход?
 Тут я захохотал – о, бизнесмен!
 Лицо дельца
 враз вытянулось тупо.

– А мой гешефт понять вам недоступно!
 Простите мне, – ха-ха! –
 мой глупый смех.
 Спросить позвольте: вы давно с Луны?
 Я вижу бизнес вам проел печёнку.
 Вы всё ещё – хозяином лавчонки,
 А я давно – хозяином страны.
 Я – тракторист, хозяин. Я пашу –
 И пышен хлеб мой на столе
 Отчизны!

Вот это, я сказать вам должен, – бизнес.
 О чём я, кстати, и стихи пишу.
 О, у меня богаты закрома,
 Засыпанные этими руками!
 Но час пришёл – бороться с сорняками
 Нас призвала история сама.
 А как живём, так тот напрасен спор:
 Что спорить, если прежде не увидишь?..
 Тем кончился на языке,
 на идиш,
 Приятный обоюдно разговор.

Боюсь, это его последний разговор и с российским читателем...

* * *

Эммануила Казакевича, автора знаменитой «Звезды», рекомендовать не нужно. Хотя, может быть, и стоит задуматься, почему он не вплёл в свой шедевр никаких еврейских мелодий. В расчётливости геройского разведчика, пробивавшегося на фронт с риском загреметь в штрафбат, заподозрить трудно. Скорее всего, он стремился в своей балладе избежать психологической и идейной усложнённости, с которыми неизбежно связана еврейская тема.

За свою военную прозу Казакевич дважды награждался Сталинскими премиями, но его идишистский биробиджанский период сегодня совершенно забыт. И, может быть, напрасно. Советую прочесть его стихотворение и маленькую поэму 1936 года. Как минимум, это документы эпохи.

Земля, на которой я счастлив

Я, коня не седлая,
 Взлетел на него.
 И шархнулись в стороны
 Синие тени.
 Я намётом лечу
 Среди сказочных гор
 По обильному августу
 В рыжем цветеньи.
 От Биры до Хингана,
 Коня горяча,
 Мимо пасек,
 Пропахших медвяным настоем,
 Сквозь смолистые запахи
 Кедрача
 Я лечу. И я вижу –
 Земля моя строит.
 Мне навстречу
 Выходят мои земляки.
 Я приветствую их,
 Поздравляя с успехом...
 – О-го-го!
 Возвращается из-за реки
 Их ответ многократным
 раскатистым эхом.
 И девчата с полей
 Мне помашут вослед.
 Тракторист улыбнётся
 Приветливо, щедро.
 Я люблю свою землю!
 Мне мил белый свет!

В зимовье нахожу
 Я смолистые щепки.
 Сухари. И хрустящую
 Соль в тuesке.
 И заботу о том,
 Кто придёт сюда следом.
 В моем сердце
 Нет места старухе-тоске,
 Залита она ярким
 Улыбчивым светом.
 Я намётом промчусь
 По родимой земле,
 Да, она для меня!
 И, как тысячи радуг,
 Расцветает в душе,
 Расцветает во мне
 Неизбывная, полная
 свежести, радость!
 Становлюсь я похожим
 На эти края.
 Не прохожий,
 А общего дела участник.
 Полюбила меня,
 Присушила меня
 та земля,
 На которой я счастлив!

Вон вальс плывёт
в открытое окно.
От радостных улыбок
в мире тесно,
Легли дороги,
в дальний путь маня...
проходят люди,
и не слышат
песни,
Что родилась под сердцем у меня.

2

Он был одним
из лучших
зданий города,
Сарай, что выводил
под крышу я.
Он на тайгу глядел
светло и гордо,
По ветру спелым
кумачом звеня.
Шел первомай.
Я шпалы просмоленные
Пустил на мостик,
что к сараю вёл.
По ним
шагали первые влюбленные
За речку,
где багул
лиловый цвёл.
Они ломали
на букеты ветки
И украшали ими мой «дворец».
А я смотрел на них
с терпением редким,
Как смотрит на детей своих отец.
И мой сарай
был кораблем влюблённых,
Несущимся на алых парусах
Туда,
в весенний и вечнозелёный
Мир,
тающий в задумчивых глазах...
Теперь сарай мой
лишь обыкновенный,
Довольно куцый и смешной сарай.
Влюблённые в тайге подняли стены,
И город встал, где был медвежий край.
И было стало всё,
о чем мечтали,
О чем просили: «Ёселе, сыграй!»
И он летит сквозь
дымчатые дали,
Дворец мой первый,
первый мой сарай!

3

Перрон Биробиджанского вокзала!
Взошла твоя счастливая звезда.

Ни водокачки, ни большого зала
Тут не было.
 Но были поезда.
Сердито отдуваясь,
 привозили
Они народ со всех
 концов России.
вот едут Тунеядовка и Шпола,
Вот Витебск, Минск,
 Одесса и Лунгин.
И на вокзале
 тяжко
 стонут шпалы,
Висят гудки,
 протяжны и туги.
Тут матери качают
 ребятишек,
Там двое в споре
 яростно сошлись.
В теплушках, на подножках
 и на крышах
В наш край таёжный приезжала жизнь.
С весёлыми и грустными глазами,
С плечами просто
 и в сажень плечо.
И был перрон толпой густою
 залит,
Тут пели
 и рыдали горячо.
И лошадей
 по сходням выводили,
И выносили сундуки с добром...
И стар и млад –
 как молоды мы были!
Нам в шевелюры город серебром
Ещё не лег тогда.
 Нам всяко будет:
в палатках надрожимся под дождём...
Но никогда, наверно,
 не забудем
Вокзал.
Наш первый в этом крае дом...
Уже звенят над городом антенны,
Дрожит над клубом алая звезда.
Я каждый вечер,
 каждый, непременно,
Хожу встречать ночные поезда!

4

Привыкли к взлёту
 третьих этажей,
На тротуар не смотрим
 как на диво.
И скептики порастеряли
 желчь,
А город стал приветливо
красивым.
Привыкли к телефонам
 и к тому,
Что на работу не идём,
 а едем.

И в скверах «Штерн»,
а вовсе не талмуд
Читают старики.
Привыкли к детям,
Что целый день
с настырностью грачат
На улицах кричат.
Привыкли к свету,
Что вспыхивает в окнах по ночам
И озаряет заревом планету.
К людской толпе
у театральных касс,
К домам,
встающим из болотной ряски...
Могло ли быть без вас,
без них,
без нас
Такое воплощенье старой сказки?
А город всё растёт.
Ещё вчера
Всех жителей я кликал поимённо.
И скверы обходил по вечерам,
Чтоб не спугнуть нечаянно влюблённых.
Вчера я знал
кому чем досадить,
И чем могу
обрадовать другого...
А нынче столько незнакомых
лиц,
Что я уже теряюсь,
право слово.
О чём мечтали
мы в крутой мороз,
Вбивая в хлябь болота
сваи гати,
Сегодня в нашем городе сбылось,
И счастливы с тобою мы, приятель!

5

Улыбку моего отца я вижу
В лучах рассветных
над седой Бирой.
И город мой становится
мне ближе.
Он как отец мой – добрый и родной.
О, где мне взять
ту силу
и ту ласку,
Ту правду,
что улыбкой он дарил.
Кончаются немыслимые сказки
У дорогих и горестных могил.
По улицам,
как гулким коридором,
Плывет фрегатом
алый этот гроб.
По улицам,
по улицам,
которым
Он отдал всё.

Остыл высокий лоб.
И я один.
И лишь улыбка светит,
Его улыбка светит сквозь года.
Город, просыпаясь на рассвете,
Встречает голубые поезда.
И песня из моей
 груди наружу,
Как кровь из раны,
 начинает бить.
И сад отцовский
 расцветает в стужу,
И клоч зари,
 как знамя новых битв.
Встаёт рассвет
 над синью
 дальних сопок,
Колышет горизонт трава лучей.
Как в сине небо
 серпоккрылый сокол
Вдруг грянет песня –
 лучше и звончей
Той,
что писал я,
 что носил –
 под сердцем,
С которой сто
 путей-дорог прошел.
Рассвет кричит: «Эммануил, вос эрт зих?»*
И я в ответ бросаю: «Хорошо!»
А он встаёт
 в неровном свете буден,
Наш новый день,
 прорвавшийся из тьмы.
Над всем, что было,
 и над всем, что будет,
Над городом, который строим мы!
Над нашей верой
 в светлые дороги,
Которым нету края и конца.
Идёт рассвет, помедлив
 на пороге
При входе в город
 моего отца!

Вот перед нами и промелькнули те образы, которыми творцы биробиджанской сказки были очарованы сами и старались очаровать других: здесь мы, вечные скитальцы, наконец-то обрели дом, дом, построенный нашими собственными руками, здесь родились наши дети, здесь похоронены наши отцы, здесь сияет улица нашего полубездомного классика, мы хозяева не только собственного национального дома, но даже всей страны...

Романтики жестоко поплатились за то, что отнеслись к этой сказке слишком серьёзно. Хотя, по сталинским меркам, *нормально*. А политика советской власти по отношению к евреям и называлась нормализацией.

* Вос Эртзих? – как жизнь? (идиш)